

«Звезда бессмыслицы»: между комментарием и интерпретацией*

Основной вопрос, возникающий в отношении философского и литературного (философско-литературного или литературно-философского) наследия «чинарей», может быть сформулирован следующим образом: предоставляют (подсказывают) ли сами «чинарные» тексты какой-либо способ их интерпретации? Или в этих текстах присутствует нечто, препятствующее, или даже активно противостоящее, реализации такой – интерпретативной, или дискурсивной – возможности их раскрытия? Этот вопрос обретает актуальность в связи с тем, что сегодняшняя доступность, открытость корпуса текстов этого эзотерического содружества двоих философов (Л. С. Липавский, Я. С. Друскин) и троих поэтов (А. И. Введенский, Д. И. Хармс, Н. М. Олейников) по каким-то причинам не способствует его вовлечению в масштабный, «полновесный» интерпретативный процесс. Концептуальный анализ творческого наследия чинарей постоянно/константно откладывается. Пожалуй, это в равной мере относится и к философии, и к литературоведению. Хотя комментарии множатся, интерпретативные модели почему-то запаздывают. Попытаемся понять, с чем это связано, т.е. чем вызвана, или обусловлена, складывающаяся ситуация.

Анализируя, или скорее комментируя, тексты А. Введенского и Д. Хармса, Я. Друскин отмечает: «Стихи Введенского и Хармса не имеют ничего общего ни с «литературой подсознания», ни с сюрреализмом; не было никакой «игры с бессмыслицей». Бессмыслица, или, как писал Введенский в 1931 г., «звезда бессмыслицы», была приемом познания жизни, то есть гносеологически-поэтическим приемом» [8. С. 46]. Но о какой «жизни» здесь идет речь? О «действительной» жизни, проживаемой каждым? Или о «жизни», всегда уже как-то представленной, или предъявленной, в той или иной ее *гносеологически-поэтической* перспективе? Ответ очевиден, поскольку «звезда бессмыслицы» проливает свет на то, что она тем или иным образом всегда-уже-освещает. Это освещенное является таковым лишь благодаря присутствию точки, излучающей свет в определенной – неподвижно-подвижной – проекции. Это именно *гносеологически-поэтическая* перспектива, раскрывшаяся/раскрывающаяся здесь-и-сейчас. Она раскрывается в месте размежевания *gnosis*'а и *poesis*'а, когда мыслимое и проговариваемое/прописываемое распределяют между собой действие смысла (казалось бы) до полного исчерпания последнего.

«Горит бессмыслицы звезда // она одна без дна, // Вбегает мертвый господин // и молча удаляет время», – резюмирует Введенский в поэме «Кругом возможно Бог». Бессмыслица здесь обозначена, поименована, т.е. названа по имени и тем самым удвоена. В этом удвоении происходит ее касание с тем, что ею нейтрализуется. Поименованная бессмыслица касается смысла на пределе его существования. В этом смысле «бессмыслица» есть предельное имя смысла, которое выражает невыразимое: отказ от того, от чего отказаться невозможно. Жертвуя смыслом, приходится жертвовать тем, с чем он неразрывно связан и во что изначально вписан, – приходится жертвовать словом, или *языком*. Но если язык Введенского и может быть определен как *мертвый* [9], то лишь в том смысле, что он оказывается *пред-*оставлен самому себе. Но *пред-*оставленный самому себе, язык – язык как текст – начинает жить своей собственной жизнью, т.е. обретает «бессмертие», – бессмертие *sui generis* производящей основы. Эта производящая – языковая – основа сохранена в тексте, или сохранена текстом, который отныне уже не нуждается в каком-либо внешнем комментарии или той или иной интерпретации. Неслучайно у Введенского комментарий и интерпретация (или интерпретации) зачастую уже вписаны в сам авторский текст и составляют с ним органическое целое. Возможно поэтому один из самых извест-

* Социальная онтология в структурах теоретического знания: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 года / Под общ. ред. О. Н. Бушмакиной, С. В. Кардинской, Н. Б. Поляковой. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2010. – С. 6-15.

ных и наиболее часто цитируемых комментариев Введенского из «Некоторого количества разговоров» одновременно выражает слишком многое и не выражает ничего: «Уважай обстоятельства места. Уважай то что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли» [1. С. 494].

Иначе, в текстах чинарей – и тексты Введенского демонстрируют это в полной мере – присутствует своего рода эффект *параллаксного видения* (С. Жижек). Это *внутренний* параллакс, поскольку смещенным объектом здесь является смысл, застигнутый в момент его исчезновения, или расщепления. Это *высказавшийся предел*, который интересен и завораживает тем, что за ним, как говорит Л. С. Липавский, «чувствуется неопределенное продолжение, бесконечность». Приведем мысль Липавского целиком: «Так два зеркала, поставленные друг против друга, создают ощущение разнообразной бесконечности. А интересно только то, за чем чувствуется неопределенное продолжение, бесконечность...» [10. С. 89]. Возможно, метафора двух зеркал здесь имеет непосредственное отношение к самому тексту – к его записи/прочтению, или производству. Это обращенный к самому себе текст, пишущий/прочитывающий самого себя. Но нет никакого смысла в том, чтобы писать *действительно бессмысленный* текст. Поэтому, как замечает Друскин, «...бессмыслица – слово, которое не обозначает то, что оно обозначает. В некоторых случаях, а может и всегда, можно еще добавить: и именно не обозначая то, что оно обозначает, или обозначая не то, что оно обозначает, оно обозначает именно то, что оно обозначает» [7. С. 647-648]. – Отношение переворачивается: дело не только в том, что *действительно бессмысленное письмо* противоречит акту творчества – невозможно и обратное, а именно *действительно осмысленное письмо*. – Оно *невозможно* постольку, поскольку абсолютная прозрачность смысла недостижима (и/или непостижима): смысл сохраняет собственное присутствие лишь в силу присущей ему неопределенности, или *нейтральности* (Ж. Делез). Но нейтральность, согласно Делезу, одновременно выражает и *сверх-бытийность* смысла, событие которого всякий раз предъявляет *тождество формы и пустоты* [4. С. 184].

«Чистому» событию смысла соответствует лишь один знак – знак ноля. И эта оформленная/оформившаяся пустота безусловно поражает своей бесстрастностью. В «Ответе богов» (1929 г.) Введенский провозглашает: «выньте душу из груди // прибежал конец для чувства // начинается искусство» [2. С. 362]. Следовательно, искусство – искусство как таковое – отныне не основывается на чувстве, но скорее на отказе от него. Тем не менее эта установка на «антиэмоциональность» искусства не является абсолютной – это лишь первая стадия актуализации смысла (творчества), которая с необходимостью должна быть преодолена, или «снята», на более высоком уровне, или на другой *высоте* (термин Я. С. Друскина). «В личной жизни до 1931 года, – пишет Друскин, – Введенский не отказывался от эмоций, от чувства. В то же время и тогда у него уже было некоторое расхождение с жизнью, с бытом. Он никогда, кажется, не имел своего письменного стола. Он сам говорил, что любит жить в гостиницах, то есть не дома. Он не имел дома, он «не имел, где преклонить голову», по существу, он и тогда уже в жизни был путником – *viator*. И все же в интимной жизни он был и нежен, и ревнив, у него было чувство. В стихах же того времени отношение к чувству ироническое: остранение и отстранение. Только после 1931 года, то есть после разрыва с первой женой, у него начинает появляться поэтический интерес к чувству. В «Куприянове и Наташе», написанной, по всей вероятности в 1931 или 1932 году, он прощается с чувством, но это прощание с чувством в жизни было одновременно пробуждением поэтического интереса к чувству, воплощенного в более поздних произведениях: «Очевидец и крыса», «Четыре описания», «Ковер Гортензия»...» [7. С. 650-651].

То же самое отношение или переход от «антиэмоциональности» к более высокому уровню творчества, основанного на чувстве, присутствует и у Хармса. М. Мейлах, ссылаясь на воспоминания Друскина, приводит одну из формул Хармса – «арбуз – дыня – арбуз» (дыня лучше, чем арбуз, но самый лучший арбуз снова лучше дыни), которой Хармс

выражал идею о том, что неэмоциональное искусство выше эмоционального, но самое высшее искусство – снова эмоционально, хотя это уже «эмоции» иного порядка [3, Т. 2. С. 22]. Поздние тексты Введенского и Хармса как раз показывают, или передают, это состояние высшей «эмоциональности». Различаются же они тем, что у Введенского эмоциональность оказывается действительно предельно возвышенной и по существу может быть отождествлена с Возвышенным («Элегия», «Где. Когда.»), у Хармса – с точностью до наоборот: «эмоции «иного» порядка» опускаются до уровня предельно низкого («Когда я вижу человека...») и даже низменного, вызывающего чувство отвращения («Реабилитация»). Касание (*состоявшееся* касание) этих крайних точек – предельно высокого и предельно низкого – исключает возможность каких-либо дополнений. Безусловно, эти тексты могут быть прокомментированы и как-то проинтерпретированы, но комментарий и интерпретация не способны дополнить их (по сути, или существу, уже сказанного), т.е. открыть в них нечто сокрытое, «зашифрованное» или «неявное». В этом случае тождество формы и пустоты дает о себе знать со стороны формы. – Высказанное в подобной форме не нуждается в «объективации». Сама форма высказывания в этих текстах объективирует то, что содержит, то есть саму себя. Иначе, это то невозможное, что тем не менее состоялось, или реализовалось: реализовавшееся невозможное.

Если обозначить подобные тексты термином «предположительно осмысленное письмо» (калькируя в смысловом отношении известный термин С. Жижека), то их противоположностью будут являться тексты с «потерянной», или рассеянной, смысловой «составляющей» – эти последние, соответственно, могут быть охарактеризованы как «предположительно бессмысленное письмо». К такому «предположительно бессмысленному письму» может быть отнесена значительная часть стихотворных текстов Хармса, но также некоторые его прозаические и драматические произведения (например, «История Сдыгр Аппр», «Комедия города Петербурга» и др.), хотя сами понятия прозы и драмы (в их традиционной, или классической, дефиниции) применительно к текстам Хармса употребимы крайне условно. У Введенского же – при таком (также достаточно условном, относительно) разделении – почти все тексты окажутся на стороне «письма, предположительно бессмысленного». Друскин акцентирует: «Введенский до самого вынужденного конца не отказался от «звезды бессмыслицы». Она все время углубляется, но ее форма проясняется. Его вещи со временем делаются все глубже и сложнее – именно «звезда бессмыслицы» углубляется, но одновременно проясняется, стиль и характер вещи становится настолько ясным, прозрачным, что абсурд, алогичность, бессмыслицу я чувствую как мое, именно мое алогичное, абсурдное существование, я уже не вижу их алогичности. Наоборот, логичность, как показывает мне Введенский, – это что-то абсолютно чуждое мне, внешнее, сама логичность, сама логика Аристотеля начинает казаться мне величайшим абсурдом... Бессмыслица – абсолютная реальность, это Логос, ставший плотью...» [7. С 646].

Что же представляет собой «Логос, ставший плотью»? Почему его реальность абсолютна? – Возможно потому, что она лишена своего «внутреннего» – сакрального – плана имманенции. Ее «душа» «материализовалась» и – материализовавшись – окаменела. Иначе, «Логос, ставший плотью» – это обездвиженный, «обездушенный» Логос, воплощенный/воплотившийся в *слово-вещь*. Слово, не отделенное от вещи, совпавшее с ней целиком, превращается в полый знак, или абрис вещи, ее начертание. Каждая вещь тем самым являет собою знак, который уже не отсылает к другим знакам, но лишь к самому себе. Он самодостаточен, самоосновен и выражает себя весь целиком. Это письменный знак – *знак-иероглиф*. Его запись замыкает существование вещи по ее абрису. Поэтому любая вещь – ввиду ее самодостаточности – предстает как замкнутый *мир*. Множество вещей, как множество миров, существуют вне всякой связи друг с другом, и эта бессвязность выступает в качестве условия возможности их существования. Это «световодозвуко-непроницаемые» миры (термин Ж. Делеза), и они в равной мере могут как содержать (удерживать) в себе нечто, так и не содержать в себе ничего, т.е. быть абсолютно бессодержательными, или пустыми. Эти *неживые миры*, следовательно, лишены не только

внутреннего плана имманенции, но и внешнего плана/режима трансценденции: связь между ними отсутствует, они не соприкасаются. Для того, чтобы неживые миры пришли в движение, необходимо задать их существование во времени, – добавить к пространственной перспективе временную. Эти перспективы должны *пересечься*. На их пересечении неживые миры как бы оживают, становятся подвижны и превращаются в бесструктурный – неопределенный – поток некоего вещества, называемого Липавским *протоплазмой*.

Это некий субстрат жизни, самый нижний уровень ее организации, вызывающий неосознанное (неосознаваемое) чувство брезгливости, страха, помутнения, в пределе – ужаса. – «Живая плазма не случайно вызывает брезгливость. Жизнь всегда в самой основе есть вязкость и муть. Живым веществом является то, о котором нельзя сказать, одно ли это существо или несколько. Сейчас в плазме как будто один узел, а сейчас уже два. Она колеблется между определенностью и неопределенностью, между индивидуальностью и индивидуализацией. В этом ее суть. На высших ступенях органической жизни это может заслоняться, но оно никогда не исчезает. Из этого следует, во-первых, что во всяком живом существе скрыто нечто омерзительное и, во-вторых, что великое множество живых существ явно омерзительно, возбуждает беспричинный страх. Что касается первого, то помимо всего перечисленного, отвратительны и страшны вообще все внутренности: мозг, кишки, легкие, сердце, даже живое мясо, все вообще соки тела. Что касается второго, то противны на прикосновение все несложные организмы, особенно бесскелетные, как, например, морские. Особенно резко это заметно на паразитах, которые испытали вторичное и, таким образом, чрезмерное упрощение. Клопы и глисты отвратительны своей консистенцией, тем, что они почти жидкие. С консистенцией может быть связан и характерный цвет, также вызывающий страх: мутно-прозрачный, часто бело-желтый. Такой цвет имеют, например, бельевые вши. Это цвет эмульсии» [10. С. 84].

Концепт протоплазмы, таким образом, охватывает *все* уровни организации жизни. Он всеобъемлющ в том смысле, что задает границы существования всех живых существ изнутри их биологического существа. Причем это «изнутри» характеризует саму протоплазму двояко. По отношению к живому и неживому (в их определенности) она сама не совпадает ни с первым, ни со вторым. – Она целиком располагается – колеблется – *между* ними. Но, с другой стороны, это «между» маркирует сам переход от жизни к смерти и (что вызывает наибольший страх) от смерти к жизни. – «Разительным, хотя и искусственным примером страха, вызываемого безындивидуальной жизнью, является впечатление от опытов по переживанию изолированных органов: палец, растущий в физиологическом растворе, голова собаки, скалящая зубы, и т.п. Поэтому же так неприятны мысли о том, что у мертвеца еще растут ногти, продолжается жизнь отдельных клеток. Вообще страх перед мертвецом – это страх перед тем, что он, может быть, все еще жив. Что же здесь плохого, что он жив? Он жив не по-нашему, темной жизнью, бродящей еще в его теле, и еще другой жизнью – гниением. И страшно, что эти силы подымут его, он встанет и шагнет как одержимый. Этим же страшны сомнамбулы, лунатики, идиоты и т.д.» [10. С. 85-86]. Протоплазма тем не менее не затрагивает тот уровень существования, который превышает жизнь в ее биологической проявленности. Она не выражает собственно человеческое начало, т.е. не определяет существование *мыслящих* существ. В терминологии чинарей – *вестников*.

Но наряду с *мышлением* (gnosis) вестники обладают также *автономией языка* (poesis). Поэтому вестники – это те существа, которые в полной мере могут быть названы *живыми вещами*, хотя их вещьность, безусловно, символична. Соседние миры вестников – это сопредельные, пограничные миры. – Они освещены светом «звезды бессмыслицы», и ее бездонность дает о себе знать в каждом из этих миров, несмотря на то, что способы их организации различны. «Звезда бессмыслицы» высвечивает *щели* и *границы* (термины Друскина) между ними, поэтому «вестники знают порядки других миров и различные способы существования» [5. С. 773]. Это языковые миры и в то же время миры мыслимые и/или воображаемые. Язык вестников получает автономию в точке разрыва, или разъятия, внут-

языковых причинно-следственных связей и правил, которые предопределяют «естественное», или «самоочевидное», восприятие/видение мира. Но едва «подернутые» смыслообразующие связи и правила тут же изменяют мир до неузнаваемости: миру действительному («вещь-как-слово») приходит конец – он буквально *сдыхает*. Один из текстов Друскина так и озаглавлен – «Сдох мир»: «Соедини две точки в прошлом – не одну протяженную в бесконечность, но возьми две точки различные, разделенные. И одна будет прошлым настоящим, другая же прошлым будущим, между ними же оставь пропасть, как оно и есть в действительности. И пока будет только одна – прошлое настоящее – будешь спокоен и будешь радоваться, и другая – прошлое будущее – будет неизвестным и будет хорошо. Когда же перейдешь на вторую и станешь на второй и вторая станет как следствие, а первая как причина, а между ними пропасть, а над пропастью – нитка: причина и следствие – сдохнет мир» [6. С. 697-698].

Нить рвется, и «действительный» мир проваливается в пропасть. Его «действительность» становится недействительной, «понятность» оборачивается непониманием. Но не существует действительной пропасти, в которую бы проваливался казавшийся действительным мир. Эта «пропасть» сужается до точки разрыва причинно-следственной нити. – Нити языка, разорванной в его смыслообразующей точке. Производство смысла прекращается, и язык на мгновение *замирает, цепенеет*. Но именно в этот момент он обретает собственную автономию, обнажая механизмы производства смысла, т.е. распознавая их в этом качестве: когда/тогда, поскольку/постольку, если/то и т.п. Линейная последовательность тех или иных событий, действий, состояний уступает место их расхождению, разбросу, перестыковке и т.д., – возникает множество различных фрагментарных констелляций (или, в терминологии Делеза, *складок*), всякий раз заново перекраивающих языковой континуум. Это место встречи языка (*poesis*) и мышления (*gnosis*), где они *касаются* друг друга, и это касание мгновенно рождает *новое, иное* (еще не бывшее, не имевшее *места*) отношение между ними. Иначе, в текстах чинарей само это (со)отношение постоянно переопределяется, пересматривается и/или переобозначается. Подлинная автономия языка, таким образом, реализуется в узловых точках его расстыковки с самим собой, – на грани утраты возможности говорения и понимания. Экспликация этих точек *возможна*, но требует нахождения нового метода, способного к переосмыслению и преодолению традиционных – классических – способов/рамок комментария и интерпретации.

Список литературы

1. Введенский А. И. Некоторое количество разговоров // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 494-511.
2. Введенский А. И. Ответ богов // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 360-364.
3. Введенский А. И. Полное собрание произведений: В 2 Т. М.: Гилея, 1993.
4. Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. *Theatrum philosophicum*. М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998.
5. Друскин Я. С. Разговоры вестников // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 758-811.
6. Друскин Я. С. Сдох мир // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 696-700.

7. Друскин Я. С. Стадии понимания // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 642-651.
8. Друскин Я. С. Чинари // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 46-64.
9. Кулик И. Мертвый язык Александра Введенского. – Режим доступа: <http://www.litera.ru/stixiya/articles/856.html>
10. Липавский Л. С. Исследование ужаса // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 76-92.